



Мюриель
Барбери

ЧАС ОТКРОВЕНИЯ



От автора романа
«Элегантность ежика»!
Впервые на русском!

Азбука-бестселлер

Мюриель Барбери

Час откровения

«Азбука-Аттикус»

2022

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Барбери М.

Час откровения / М. Барбери — «Азбука-Аттикус»,
2022 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-22342-4

Французская писательница и философ Мюриель Барбери стала звездой после публикации ее второго романа «Элегантность ежика» (2006) – только во Франции он разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров, принес автору с десятков престижных литературных наград, был переведен на сорок с лишним языков, и с тех пор каждая книга Барбери лишь подтверждает ее статус королевы бестселлера. Ее новый роман «Час откровения» и предыдущий, «Только роза», складываются в объемную картину, разомкнутую историю, чьи герои проживают свои безусловно взаимосвязанные жизни, не встречаясь ни во времени, ни в пространстве. В романе «Только роза» сорокалетняя женщина приезжала в Японию, чтобы обрести корни, потерянные с рождения, и понять незнакомого покойного отца, на протяжении всего романа остававшегося за кадром; в кадре была только Роза. В «Часе откровения» за кадром остается она, а в кадре – главный герой, отец Розы, коллекционер и торговец современным японским искусством Хару Уэно, которого неодолимая любовь к красоте еще в молодости наделила безошибочно точным взглядом на прекрасное и погнала прочь из глубинки в Киото. «Час откровения» – поэтичная, проникновенная и глубокая история Хару, его друзей (художников по профессии или в глубине души), его любви к дочери – любви на расстоянии, деликатной и неотступной, – и его постепенного неотвратимого самопознания. В декорациях Японии, где автор прожила несколько лет, – страны непостижимой и бесконечно притягательной – разворачивается тихая и пронзительная драма: в ней красота таится в наималейших мелочах, меланхолия неотделима от радости жизни, а смерть и рождение суть одно и то же. Впервые на русском!

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-22342-4

© Барбери М., 2022
© Азбука-Аттикус, 2022

Содержание

Умирать	8
До	12
После	22
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Мюриель Барбери

Час откровения

Muriel Barbery

UNE HEURE DE FERVEUR

Copyright © Actes Sud – 2022

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

© Р. К. Генкина, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Деликатный роман, полный любви... Барбери написала книгу редкого изящества.

Le Quotidien du Luxembourg

«Только роза» и «Час откровения» – сумрачный, поэтичный и тонкий диптих.

Le Journal du Dimanche

Весомый и нежный роман.

Le Devoir

Будь фразы Мюриель Барбери камнями, ее книги были бы соборами. Голос ее – песня, возносящаяся к небесам молитва. Она говорит на языке звезд.

Le Figaro littéraire

Книга невероятной красоты, напоенная поэзией и меланхолией.

Les livres ont la parole

Тонкий импрессионистский роман.

Mode et travaux

Очень тонкий портрет Японии, где умелая алхимия сочетает яркую современность с неисчислимыми традициями. «Час откровения» полон поэтической ностальгии, лишен пафоса и трогает до глубины души.

Le Télégramme

Погружение в империю знаков. Дивная повесть об японских законах красоты, написанная с бесконечным вниманием к деталям. Дань наблюдательности и терпению. Искристый, возвышенный роман, одновременно материальный и философский, где дух веет повсюду и во всем многообразии форм. Инициация, странствие, на которое не хватит целой жизни. Созерцательная одиссея, притча о разнообразии любви, желания и отсутствия, а еще – о наших темных сторонах и слепых зонах.

Radio France

Замечательная книга — то ли величественный храм, то ли проникновенное хайку.

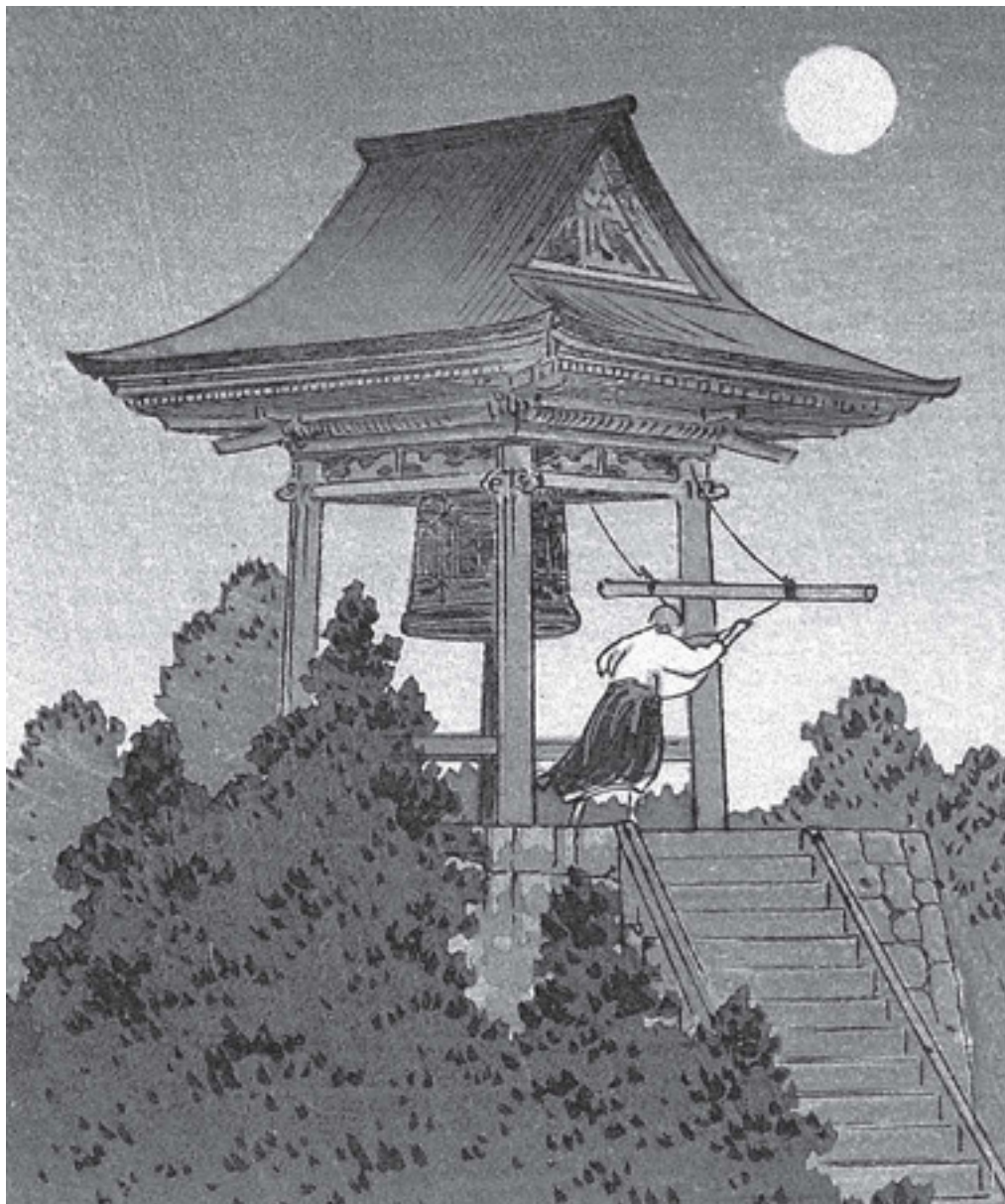
Le Monde des livres

Этот текст разворачивается, как японская каллиграфия: неотвратимая уместность каждого штриха превращает слова в живые картины, не сбиваясь с поэтического дыхания.

Sud Ouest

*Посвящается Шевалье
И тем, кто живет в Киото, —
Акио, Мэгуми, Сайоко и Кейсукэ, Манабу, Сигэнори, Томоо, Кадзуо,
Томоко
и Эрику-Марии*

Умирать





В час смерти Хару Уэно смотрел на цветок и думал: «Все держится на цветке». В действительности жизнь Хару держалась на трех нитях, и цветок был лишь последней из них. Перед ним простирался небольшой храмовый сад – миниатюрный пейзаж, усеянный символами. Долгие века духовных исканий, завершившиеся столь точной композицией, – это приводило его в восторг. «Какие усилия сосредоточились на поиске смысла и в конечном счете на чистой форме», – подумал он.

Ибо Хару Уэно был из тех, кто взыскует формы.

Он знал, что вскоре будет мертв, и говорил себе: «Наконец-то я воссоединюсь с предметами». Вдали гонг Хонэн-ина¹ ударил четыре раза, и от насыщенности собственного присутствия в мире у Хару Уэно закружилась голова. Прямо перед ним – сад, замкнутый в побеленных известью стенах, крытых серой черепицей. В саду – три камня, сосна, покрытое песком пространство, фонарь, мох. Вдали – восточные горы. Сам храм назывался Синнё-до. На протяжении почти пяти десятилетий каждую неделю Хару Уэно проделывал один и тот же путь – шел к главному храму на холме, спускался через кладбище на склоне и возвращался ко входу в комплекс, которому пожертвовал немало денег.

Ибо Хару Уэно был очень богат.

Он вырос, наблюдая, как снег падает и тает на камнях горного потока. На одном берегу прилепился маленький родительский дом, на другом тянулся лес из высоких сосен, выросших в лед. Долгое время он думал, что его привлекает материя – скалы, вода, листва и дерево. Поняв, что всегда тяготел к формам, которые принимает эта материя, он стал покупать и продавать произведения искусства.

Искусство: одна из трех нитей его жизни.

Конечно, торговцем он стал не в одночасье – потребовалось время, чтобы перебраться в большой город и встретить определенного человека. В двадцать лет, отвернувшись от гор и от отцовской торговли sake, он покинул Такаюму и отправился в Киото. У него не было ни денег, ни связей, зато он обладал редким капиталом: пусть он не знал ничего о мире, зато знал, кто он такой. Был месяц май, и, сидя на деревянном полу, он провидел будущее с ясностью, близкой к той, какую дает sake. До него доносился шум храмового дзен-буддийского комплекса, в котором его двоюродный брат-монах договорился для него о комнате. Сила видения наложилась на необъятность времени, и у Хару закружилась голова. Это видение не сообщало ни где, ни когда, ни как. Оно гласило: «Жизнь, посвященная искусству». И еще: «У меня получится». Комната выходила в крошечный тенистый садик. Солнце золотило верхушки высокого серого бамбука. Среди кустиков хосты и карликового папоротника рос водяной ирис. Один цветок, более высокий и хрупкий, чем остальные, покачивался на ветру. Где-то прозвонил колокол. Время растеклось, и Хару Уэно стал этим цветком. Потом это произошло.

И сегодня, через пятьдесят прошедших лет, Хару смотрел на тот же цветок и удивлялся, что сейчас опять двадцатое мая и четыре часа дня. Однако одно отличие все же было: на этот раз он смотрел на цветок внутри себя. И еще: всё – ирис, колокол, сад – происходило в настоящем. И последнее, самое замечательное: в этом всепоглощающем настоящем растворялась боль. Он услышал шум за спиной и понадеялся, что его оставят одного. Подумал о Кейсукэ, который где-то ждет, когда он умрет, и сказал себе: «Жизнь сводится к трем именам».

Хару – тот, кто не хотел умирать. Кейсукэ – тот, кто не мог этого сделать. Роза – та, кто живет.

Частные покои, где находился Хару Уэно, принадлежали главному священнику храма, брату-близнецу Кейсукэ Сибаты, человека, благодаря которому свершилось его предназначение. Братья Сибата происходили из старинной семьи Киото, которая с незапамятных времен поставляла городу лакировщиков и монахов. Поскольку Кейсукэ равным образом ненавидел

¹ Хонэн-ин – буддийский храм в окрестностях Киото. – Здесь и далее примеч. перев.

религию и – из-за блеска – лак, он выбрал гончарное дело, но был также художником, каллиграфом и поэтом. Примечательным во встрече Хару и Кейсукэ было то, что изначально между ними возникла чаша. Хару увидел эту чашу и понял, чем станет его жизнь. Он никогда не встречал подобного творения: глиняное изделие казалось старым и в то же время новым – сочетание, которое он раньше считал *невозможным*. Рядом на стуле развалился человек без возраста и, если только подобное выражение имеет смысл, того же разлива, что и чаша. Помимо этого, он был вдребезги пьян, и Хару нос к носу столкнулся со столь же невозможным сочетанием: с одной стороны – совершенная форма, а с другой – ее создатель, пропойца. После того как их представили друг другу, они закалили в саке дружбу на всю жизнь.

Дружба: вторая нить, на которой держалась жизнь Хару.

Сегодня перед ним предстала смерть в виде сада, и все остальное, кроме этих двух моментов, разделенных дистанцией в полвека, стало невидимым. Облако задело вершину Даймондзи², волной прислав запах ириса. Он подумал: «Остались только эти два мгновения и Роза».

Роза: третья нить.

² Даймондзи – гора на северо-востоке Киото, один из символов города.

До





Встреча Хару Уэно и Кейсукэ Сибаты состоялась пятьдесят лет назад в доме Томоо Хасэ-гавы, кинорежиссера, снимавшего документальные фильмы об искусстве для национального телевидения. Хотя обычно японцы редко принимают у себя гостей, в доме Томоо можно было встретить японских и зарубежных художников и артистов, а также прочую публику, не имев-

шую отношения ни к художникам, ни к артистам. Сам дом походил на парусник, уткнувшийся в мшистый берег. На верхней палубе наслаждались ветром, проникавшим через окна даже в разгар зимы. Корма судна упиралась в склон холма Синнэ-до. Нос указывал на восточные горы. Томоо задумал, нарисовал и построил этот дом в начале шестидесятых годов, чтобы затем открыть его для всех любителей искусства, саке и вечеринок. Вечеринки включали в себя дружбу и смех в ночи. Искусство и саке подавались в чистом виде. Они извечно сохранялись такими, какими и были по своей природе. Ничто и никогда не могло замутить чистоту их эфира.

Итак, вот уже почти десять лет Томоо Хасэгава царил на холме. Его называли Хасэгава-сан или То-тян, используя любовно-уменьшительное детское имя. В его доме приходили и уходили в любое время, даже в отсутствие хозяина. Его любили, мечтали ему подражать, но никто не таил на него обид. Кроме того, он обожал Кейсукэ, Кейсукэ обожал его, и, словно сговорившись, они оба обожали холод. В любое время года они бродили полуодетыми по аллеям храмового комплекса, и на заре десятого января 1970 года Хару впервые составил им компанию. В свете занимавшегося дня холм напоминал льдину, каменные фонари мерцали, в воздухе веяло кремнем и благовониями. Друзья весело щебетали в своих легких одеждах, в то время как у Хару, облаченного в плотное пальто, зуб на зуб не попадал. Однако он не обращал на это внимания, осознав, что в ледяном рассветном воздухе чувствует себя паломником. Родительский дом находился в Такаме, но местом, где он когда-то жил и будет жить настоящей жизнью, оказался Синнэ-до. Хару не верил в предыдущие жизни, но верил в дух. Отныне он станет паломником. И будет непрестанно возвращаться к своему истинному истоку.

Синнэ-до, храм, соседствовавший с другими храмами, располагался на северо-востоке города, на возвышенности, которую Хару в расширительном смысле тоже называл Синнэ-до. Клены, старинные постройки, деревянная пагода, вымощенные камнем дорожки и, естественно, кладбища на вершине и на склонах холма, одно из которых принадлежало Синнэ-до, а другое храму Куродани – и тому и другому Хару, когда у него появились деньги, жертвовал с равной щедростью. На протяжении почти пятидесяти лет каждую неделю он будет проходить под алым порталом, подниматься к храму, огибать его, поворачивать к югу, следуя вдоль двух кладбищ и пересекая третье, смотреть на Киото внизу, у своих ног, спускаться по каменной лестнице Куродани, прогуливаться между храмами, направляясь на север, чтобы вновь оказаться в исходной точке, и каждое мгновение ощущая себя дома. Поскольку буддистом он был только по традиции, но хотел приобщиться к средоточию своей жизни, он взлелеял убеждение, что буддизм есть имя, которое в его культуре присвоили искусству или же, по крайней мере, тому источнику искусства, которое он сам называл духом. Дух был всеобъемлющ. Дух давал объяснение всему. По какой-то мистической причине холм Синнэ-до воплощал его суть. Следуя по своему закольцованному пути, Хару проходил по обнаженному остову самой жизни, очищенной от всей ее похабщины, отмытой от любой пошлости. С годами он понял, что его озарения рождались из внутренней формы этого места. На протяжении веков человеческие существа соединяли здесь строения и сады, располагали храмы, деревья и фонари, и в конце концов эта терпеливая работа претворилась в чудо: меряя шагами аллеи, человек общался на «ты» с незримым. Многие приписывали этот феномен присутствию высших созданий, населяющих священные места, а вот Хару научился у камней из потока своего детства тому, что дух порождает форму, что ничего, кроме формы, не существует, именно из нее вытекает благодать или уродство, а вечность или смерть заключены в изгибах скалы. И потому той зимой 1970 года, когда он еще был никем, Хару решил, что его прах однажды упокоится именно здесь. Ибо Хару Уэно знал не только кто он, но и чего хочет. Он просто выжидал, когда поймет, какую форму должно принять его желание.

Вследствие всех этих обстоятельств в момент знакомства с Кейсукэ Сибатой он увидел среди бела дня свое будущее так же ясно, как стоявшую перед ним глиняную чашу. В тот вечер

Томоо Хасэгава в подражание меценатам устраивал прием с целью продвижения группы молодых нетрадиционных художников. По обыкновению, они принесли на парусник Синнэ-до свои творения, и здесь собрался весь Киото; люди пили, болтали, а потом расходились по домам, разнося повсюду имена этих художников. Большинство из них были свободными электронами. Они не принадлежали ни к какой-либо школе, ни к семье и всячески настаивали (что с культурологической точки зрения было довольно сложно) на собственной *самобытности*. Эти молодые дарования не копировали современное западное искусство, а работали с материей родной земли, придавая ей необычный вид, по-прежнему японский, но не вписывавшийся в установленные каноны. В конечном счете они вполне соответствовали вкусам Хару, потому что походили на то, чем хотел быть он сам: молодым, но глубоким, верным традиции, но не скованным, вдумчивым и, однако, исполненным смелости.

В те времена несколько народившихся галерей современного искусства могли выжить, только если параллельно торговали старинными артефактами, а этот рынок был очень замкнутым и требовал наличия мощных связей. У Хару, сына скромного продавца sake откуда-то с гор, не было ни малейшего шанса туда просочиться. Он оплачивал свою комнату в Дайтоку-дзи³, помогая поддерживать порядок в храме, а свое обучение архитектуре и английскому – работая по вечерам в баре. Все его имущество сводилось к велосипеду, книгам и набору для чайной церемонии, врученному дедом. Четвертым предметом, находившимся в его владении, было пальто, которое он, постоянно мерзший, носил с ноября по май и на улице, и в помещении. Однако, хотя в том ледяном январе у него не было ничего, в его пустые руки попал изумительный компас. Он думал: «Я буду делать то же самое, что Томоо, но только в большем масштабе».

И он это сделал. Но прежде, после череды ночей, обильно орошенных sake, он изложил свой план Кейсукэ и под занавес заявил: «Мне нужны твои деньги, чтобы начать дело». Вместо ответа Кейсукэ рассказал ему одну историю. Около 1600 года сын торговца захотел стать самураем, и отец сказал ему: «Я стар, и у меня нет других наследников, но самураи почитают путь чая⁴, и потому я даю тебе свое благословение». На следующий день Хару пригласил Кейсукэ в свою комнату и, используя дедушкин подарок, приготовил ему чай, устроив непринужденную и в то же время отчасти торжественную церемонию. Потом они пили sake, болтали и смеялись. Падавший на храмы снег обнимал фонари белоснежными вороньими крыльями, и Кейсукэ ни с того ни с сего разразился куплетом о тщете религии.

– Буддизм не религия, – сказал Хару, – или же религия искусства.

– В таком случае еще и религия sake, – не преминул вставить слово Кейсукэ.

Хару согласился, и они выпили еще. Под конец он уточнил, какая требуется сумма. Кейсукэ одолжил ему деньги.

После чего Хару начал с блеском преодолевать препятствия. Помещения у него не было, он снял склад. У него не было связей, он использовал связи Томоо. У него не было репутации, он сделал ставку на то, чтобы создавать репутацию другим. Он очаровывал всех, и Кейсукэ оказался прав: Хару был до мозга костей торговцем, но, в отличие от отца, ему предстояло стать великим торговцем, потому что он был наделен не только деловым чутьем, но и чутьем чая, или, другими словами, благодати. На самом деле существует два вида благодати. Первый – результат духа, родившегося из формы, и ради него Хару отправлялся в Синнэ-до. Второй – тот же первый, только увиденный под другим углом, но, поскольку он принимает специфическое обличье, его называют красотой, и ради него Хару ходил в сады дзен и посещал художников. Его взгляд чая прощупывал их произведения и извлекал из них душу, что сам он фор-

³ Дайтоку-дзи – буддийский храмовый комплекс и монастырь дзенской школы Риндзай на севере Киото.

⁴ Путь чая – специфическое понятие, многие века существующее в китайской чайной культуре, самой древней на Земле. Чаепитие – лишь одна из составных частей этого пути. Цель чайной церемонии – «создание дистанции между миром чаепития и миром повседневности», воспитание чувства покоя и самососредоточенности и в конечном итоге «воспитание души».

мулировал так: «У меня нет таланта, зато вкуса в избытке». И в этом он ошибался, потому что существует и третий вид благодати, именно он питает два других, и в нем Кейсукэ видел высший талант. И если, как в случае Хару, благодать коренится в парадоксе, то не становится от этого менее могучей: всю свою жизнь он будет терпеть поражение в любви, но оставаться королем в дружбе.

* * *

Однако дружба – часть любви.

В один прекрасный день, когда безошибочный вкус Хару в отношении «западников» уже не нуждался в доказательствах, Кейсукэ сказал ему:

– Для меня всё – жизнь, искусство, душа, женщина – нарисовано одной тушью.

– Какой тушью? – спросил Хару.

– Японией, – ответил Кейсукэ. – У меня и в мыслях быть не может прикоснуться к иностранке.

У Хару это в голове не укладывалось, хотя он понимал любовь Кейсукэ к жене, да и, по правде говоря, кто бы не понял? Саэ Сибата была всем, чего только может пожелать сердце. Встреча с ней действовала как удар копья. Больно не было, но возникало ощущение, что перед вами очень медленно разворачивается какое-то несказанное действо. Какое именно? Непонятно, как, впрочем, и все остальное, – никто не мог бы сказать, была ли она красивой, маленькой, живой или серьезной. Бледной, это да. А помимо этого, в памяти оставалось лишь ощущение яркого присутствия, которое возникло на вашем пути. Но вот однажды в ноябрьский вечер 1975 года землетрясение обрушило дерево, когда Саэ и маленькая Йоко ехали по прибрежной дороге недалеко от Касэды, где жила мать Саэ и бабушка Йоко. Легкое землетрясение – и все кончено. Дерево падает на машину, и бесконечность гаснет.

– Это только начало, – сказал Кейсукэ Хару.

– Нет никаких причин, чтобы это продолжилось, – попытался успокоить его Хару.

– Кончай вешать мне лапшу на уши, – сказал Кейсукэ.

– Ладно, – ответил Хару.

Десять лет спустя, четырнадцатого февраля 1985 года, когда умер Таро, старший сын Кейсукэ, Хару стоял рядом с гончаром, не расточая бесполезных слов, и так же двадцать шесть лет спустя, одиннадцатого марта 2011 года, когда пришел черед Нобу, младшего.

– А вот я не могу умереть, – сказал Кейсукэ, когда погиб первый сын. – Это называется «судьба», – уточнил он, беря чашечку с саке, которую протянул ему Хару.

– Откуда ты знаешь? – спросил Хару.

– Звезды, – сказал Кейсукэ. – Надо только уметь слушать. Но ты ведь не умеешь слушать, люди с гор полные придурки.

В действительности Хару Уэно был прежде всего жестким, какими иногда бывают горцы. Не прошло и десяти лет, как он преуспел сверх всех ожиданий. От своих первых шагов он сохранил манеру арендовать самые странные места и там демонстрировать новые произведения. Единственным, что он приобрел в собственность, был склад для хранения работ. В остальном все переменялось: он стал богат, влиятелен, его художников носили на руках. Тому имела масса причин, одной из которых была образовавшаяся брешь, в которую он сумел прорваться, но не последним делом оказался и тот факт, что он не только с умом отыскивал новых подопечных, но и с тем же сочетанием искренности и расчета подбирал покупателей. Трудно представить себе, до какой степени это разжигало страсти: мало было просто купить произведение искусства, хотелось стать клиентом Хару Уэно. Поначалу он священнодействовал в одиночку, хотя Кейсукэ часто крутился неподалеку, когда Хару заключал сделки. В наличии всегда имелось саке, и пили до позднего вечера, пока Хару не вез всех куда-нибудь ужи-

нать. Когда остальные валились под стол, они с Кейсукэ возвращались пешком под луной. В такие глубокие часы они говорили о главном.

– Почему ты пьешь? – спросил Хару еще до смерти жены друга.

– Потому что я знаю судьбу, – ответил Кейсукэ.

И когда умерли Саэ и маленькая Йоко, он сказал другу:

– Я же тебя предупреждал.

В другой раз Хару спросил:

– Что для тебя ценнее – незримое или прекрасное?

Кейсукэ не появлялся несколько дней, а потом принес Хару самую чудесную картину, какую когда-либо кто-либо написал. Иногда они просто любовались звездами, покуривая и беседуя об искусстве. В другие ночи Кейсукэ рассказывал истории, где смешивались классическая литература и его личный фольклор. Наконец, каждый возвращался к себе, в дома, расположенные метрах в двухстах друг от друга, на берегах Камо.

Камо... метрономом жизни Хару была еженедельная прогулка в Синнэ-до, но якорь он бросил на берегу реки, протекавшей через Киото с севера на юг, разделяя город на две части. Все коренные горожане знают: именно ее берега, песчаные тропы, дикие травы и цапли задают пульс древнего города.

– Дай мне воду и гору, – говорил Кейсукэ, – и я слеплю тебе мир, долину, где вьется неуловимое.

Хару купил старое полуразвалившееся строение, которое, повернувшись спиной к западу, разлеглось вдоль реки и смотрело на восточные горы. Он еще не завершил архитектурное образование, но, видит бог, уж нарисовать дом он мог. Вместо дряхлой хибары он возвел чудо из дерева и стекла. Снаружи дом выходил на воду и горы. Внутри он распаивался крошечным садам. В центре главной комнаты в стеклянном стакане, открытом небу, жил молодой клен. Хару использовал мало мебели, но очень обдуманно; он привез сюда несколько произведений искусства. Свою спальню он оставил совершенно пустой – единственным исключением стали футон⁵ и картина Кейсукэ. По утрам он пил чай и смотрел, как вдоль берегов среди кленов и вишен мелькают бегуны. По вечерам он работал один в своем кабинете, угловые окна которого выходили на восточные и северные горы. И наконец, он укладывался спать, прожив еще один день в долине неуловимого. Однако половину времени он проводил не один: на купленном складе он устраивал приемы, где пили и танцевали между упаковочными ящиками, а у себя дома – дружеские посиделки, где пили и беседовали у стеклянной клетки с кленом. Люди бывали и у Томоо, где неизменно встречали Хару, как и у Хару – Томоо, где у того имелись свои персональные палочки для еды. И в любом случае и там и там присутствовал Кейсукэ.

Наступает двадцатое января 1979 года, и, конечно же, Кейсукэ на месте. Саэ и Йоко уже в ином мире, но Таро и Нобу, два его сына, пока еще среди живых. Вместе с ними в своем недавно распаханном двери доме на берегу Камо Хару празднует тридцатилетие. Как обычно, присутствуют завсегдатаи, знакомцы и много женщин. Саке льется рекой, витает легкий смех, время похоже на пальмовые ветви, ласкаемые бризом. Снаружи идет снег, и каменный фонарь в клетке клена покрыт белоснежными вороньими крыльями. Вместе с Томоо входит женщина, Хару видит ее спину, рыжие волосы, собранные в пышный пучок, зеленое платье, бриллианты в ушах. Она разговаривает с Томоо, смотрит на дерево, поворачивается, и ему открывается ее лицо. Внезапно, без всякого предупреждения, как иногда падает туман, с легкостью покончено.

⁵ *Футон* – традиционный японский матрас.

* * *

– Веер не может развеять туман, – говорит Кейсукэ молодому скульптору, не глядя на того, потому что смотрит только на Хару.

Он замолкает, и через несколько секунд недоумевающий молодой скульптор сбегает, пробормотав невнятные извинения, но Кейсукэ, поглощенный зрелищем занимающегося пожара, не обращает на него никакого внимания. Он умеет читать звезды, и пожары ему тоже знакомы – а в этой женщине, без сомнения, гнездится один из них. Он не боится за Хару – пока еще нет, – он боится за нее. Никогда прежде он не встречал человеческого существа, в котором бы чувствовалось подобное *не-присутствие*.

– Это Мод, она француженка, – говорит Томоо, и Кейсукэ думает: «Туман».

Рядом стоит Хару, и Кейсукэ думает: «Веер». Он перехватывает взгляд зеленых глаз француженки, изящно обведенных темными полукружьями. Она говорит что-то по-английски, Хару со смехом отпускает в ответ какое-то короткое замечание.

– Я не говорю по-английски, – отвечает Кейсукэ по-японски.

Она делает небрежный жест, что может означать как «это не страшно», так и «кому какое дело». У всех возникает ощущение, что пространство – а может, и время – искривляется, потом все вроде бы приходит в норму, и Кейсукэ знает, что женщина проведет эту ночь у Хару. Сегодня вечером в комнате присутствует немало женщин, которые были или остаются его любовницами. Он самый обаятельный из мужчин и лучший из друзей, для которого любовь лишь ответвление дружбы, а семья... «Семья – слишком низкая ветвь, недолго и макушкой стукнуться, я предпочитаю ветви повыше», – обычно заявлял он, но до того, как погибли Саэ и Йоко. На похоронах, раз уж дружба – часть любви, он говорит:

– Судьба плохо выбирает ветви.

Зато этим вечером сам Хару пытается разогнать туман. С бокалом саке в руке, лишенный способности видеть, он пускает в ход все свои веера: веер беседы на прекрасном английском, которому завидуют все японцы; веер юмора, с которым он управляется в европейском стиле; веер непринужденной болтовни, искусством которой он овладел благодаря своему кругу общения, в частности знакомству с французами. Но ничто не может развеять таинственности дамы. Она говорит, что работает пресс-атташе в одном культурном фонде, он пытается прочесть ей лекцию о японском искусстве. Она слушает с непроницаемым видом и в какой-то момент тихо говорит *я согласна*, и это звучит как *я умираю*. Хару запутался в этой женщине, она кажется ему бесконечной, и в то же время ее будто здесь нет, он стоит перед пустотой, в которой плавают мертвые звезды. Он замечает, что у нее очень красивый рот, уголки губ образуют удивительную складку; мгновенно чувствует, что добьется своего, хотя что-то от него ускользает.

На другом конце комнаты что-то еще вызывает у Кейсукэ тревогу, хотя в голове у него никак не складывается отчетливое представление, что именно, а поскольку саке есть факел, озаряющий корни вещей, он пьет. Час спустя налицо единственный явный результат: он вдребезги пьян, сидит на полу, привалившись спиной к стеклянной клетке клена и вытянув ноги, а голова сквозь прозрачное стекло кажется увенчанной мерцающими вороньими крыльями. Это прекрасная ночь, залакированная снегом, небо ледяное, звезды без лишнего блеска подсвечивают его густую тушь. Француженка и Хару стоят по другую сторону дерева, и Кейсукэ вновь поражается царящей в этой женщине пустоте, против которой саке бессильно, поскольку у бесплотности нет корней. И однако, это не-присутствие, эти текущие безразличные жесты распространяют вокруг дуновение пожара. Он различает изумрудное платье, бриллианты в ушах, помаду, тонкое лицо. Но все связующее тонет в неопределенности – пропорции, сочленения, сцепление, все то, что слагает отдельные части в единство. Кейсукэ не может представить себе эту женщину целиком и знает, что алкоголь тут ни при чем, все дело в отсутствии

в ней тех невидимых связок, которые соединяют разрозненные фрагменты живых существ. На него наваливается воспоминание о Саэ; вот они в доме на Камо, он узнает спальню, свет, тело жены, и в этом текучем пожаре, коим является Мод, перед ним вдруг предстает нечто прямо противоположное тому, кем была Саэ. По правде говоря, он, словно в приступе своеобразной слепоты, не различает ни форм, ни контуров, но эта невосприимчивость к обычным параметрам, присущие зрению, позволяет ему распознать скрытое. И потому он, навеки обреченный вдовству и искусству, пронзает туманы, скрывающие видимое и выявляющие невидимое, то единственное пространство, где он еще может вылепить чьи-то присутствия. Иногда, при должном количестве sake, дружба вносит свою лепту, и из всех прочих Хару остается тем, кто ярче всех сияет во мраке. Было что-то *воплощенное* в этом мужлане с гор – Кейсукэ чувствует в нем изломы, словно сеть кракелюров, и это глубоко его трогает. В остальном, и главным образом в искусстве, они пребывают в разных частях спектра: Хару ищет формы, к второстепенности которой стремится Кейсукэ, загоняя невидимое в извивы, где не существует ни линий, ни текстуры, ни цвета. Все отходит на второй план, чтобы уловить предмет в его обнаженности, и тогда он уже не предмет, а присутствие, и в этом беге с завязанными глазами Кейсукэ по-прежнему надеется увидеть дух в его чистом виде.

– Однако в конечном счете остается женщина или чаша, – замечает Хару.

– Ты слеп, потому что смотришь, – отвечает Кейсукэ. – Ты должен научиться не смотреть.

И вот Кейсукэ сидит, привалившись к стеклянной клетке с кленом, и ужасается тому пожару, коим является Мод, если глянуть на нее его глазами, привыкшими к меркам существования Саэ. Он думает: «Что делает огонь, бегущий в пустоте? Он не разгорается и не подымается ввысь, он медленно пожирает себя изнутри». По мере того как обостряется его видение, крепнет уверенность, что он упустил нечто важное, и ему странно находиться совсем рядом со средоточием трагедии и не видеть ее. Увы, он слишком пьян, чтобы понять знаки, заключенные в этом зрелище, и просто наблюдает за Хару, который все щебечет и щебечет, в то время как женщина задумчиво слушает, слегка наклонив голову. А Хару не замечает, что Кейсукэ следит за ним. Он много выпил, но если и пьян, то лишь от благосклонности этой иностранки, она удивляет и очаровывает его, он теряет голову от ее профиля камеи, светлой кожи, рыжих волос. Он смутно чувствует за всем этим – но за чем именно? – иную странность, но решает, что поразмыслит об этом *после*. Единственное, чего он хочет, – целовать эти губы, ласкать плечи и грудь, проникнуть в ее тело, и думает: «Остальное откроется *после*».

* * *

И вот сейчас, сорок лет спустя, когда Хару Уэно смотрит на смерть, облаченную в сад, перед ним снова проходят жизни, высеченные этим *после* – после Саэ, после Мод, после Розы, – и думает: «Кейсукэ горло надсадил, твердя мне об этом, а я не желал замечать никаких признаков, я ничего не видел, потому что продолжал смотреть». Но в тот день, двадцатого января 1979 года, гости постепенно покидают дом, Кейсукэ увозят на строительной тачке, и все долго смеются в ночи, потому что холод не пугает этих выходцев из *до*. Однако один из них знает, что они уже скользнули в *после*, и осталась лишь долгая литания *после*, и вся жизнь есть это непрерывное *после*. Укладывая гончара в тачку, Томоо, тоже пьяный в стельку, сказал ему «Хару», но Кейсукэ услышал «опасность». Для того, кто обладает внутренним глазом, чистота sake всегда остается нерушимой. Ничто и никогда не может замутить этот эфир. Кейсукэ уверен, что sake может взять над ними верх, но никогда не возьмет их душу. Благодаря глазу и sake оба увидели, что Хару в опасности.

В опустевшем доме на Камо Хару входит в воду, и француженка следует за ним. Он рассказывает ей о дереве хиноки⁶ и о том, как скучает по временам сэнто⁷, когда у японцев еще не было отдельных ванн в домах. Она сидит напротив него, проводит рукой по гладкому деревянному бортику купели.

– Но ведь сэнто еще есть, – тихо говорит она.

Хару качает головой.

– Они исчезнут, – отвечает он.

Большая ванна мерцает в светотени ночного часа, луна и садовые фонари бросают отсветы на ее лицо и тело. У нее белые груди, плечи балерины, она вытянута, как стебли тростника, изящно худощава. По непонятной причине Хару вспоминает одну историю, рассказанную Кейсукэ, и пускает в ход новый веер.

– В середине эпохи Хэйан⁸, в тысячном году по вашему календарю, – говорит он, – наступили удивительно прекрасные рассветы. В глубине небес угасали охапки алых лепестков. Иногда в эти отсветы пожара попадали большие птицы. При императорском дворе жила одна дама, заточенная в своих покоях. Благородство ее рода наложило на ее судьбу печать плена, и даже маленький сад, примыкавший к спальне, был ей запрещен. Но чтобы полюбоваться на рассвет, она опускалась на колени на деревянный настил внешней галереи, и с первого дня нового года каждое утро в сад приходил лисенок.

Хару замолкает.

– И?.. – спрашивает француженка.

– До самой весны зарядил сильный дождь, и дама попросила своего нового друга присоединиться к ней в укрытии, под навесом небольшой террасы, где рос всего один клен и несколько зимних камелий. Там они научились понимать друг друга в молчании, но позже, придумав общий язык, единственное, что они сказали друг другу, – имена своих мертвых.

Хару снова замолкает, и на этот раз она не говорит ни слова. Едва ему показалось, что в тумане он различает силуэт, как он почувствовал, что крепость растет – огромная неприступная крепость теней, и его охватывает желание, тоже огромное, обладать этой женщиной. Еще позже он изумляется чуду, этим распахнутым бедрам, этой расщелине, куда он проникает. Он в восторге от ее тела, и нечто неопределимое, безмерно волнуя его, еще больше распаляет желание. Она не отрываясь смотрит на большую картину напротив кровати и иногда делает легкий жест, который кажется ему невероятно эротичным. Сразу после он засыпает в путанице снов, где перекликаются лисица и купель. Женщина в этих снах струится у него между пальцами, она пленница, но пленница текучая, а главное, она *пребывает вовне*.

Проснувшись, он обнаруживает, что остался один. В следующие ночи она возвращается. В ванне он рассказывает ей какую-нибудь историю. Потом они идут в спальню. Каждый раз она не сводит глаз с картины. Ее тело служит Хару источником бесконечного ослепительного опьянения. Он словно погружен в хрустальный поток и в этом безоглядном непротivлении видит безоглядный дар. Он без ума от ее бедер, кожи, от ее редких жестов – все это лишает его и уверенности, и ориентиров. Женщины любят Хару, потому что он любит их удовольствие, но с нею он даже не задается этим вопросом. Он перешел границу и принял обычаи другой страны, он думает, что ее наслаждение тоже где-то *вовне*. Через несколько дней он решит, что принял безразличие за согласие, бездну за страсть, а чуть позже – что он желал этой бездны. Но в ту ночь, десятую, он ложится на эту призрачную женщину и входит в нее, как пробиваются сквозь темную волну. Чуть раньше, вечером, они встретились у Томоо, и он мечтал лишь о том часе, когда сожмет в объятьях это бледное тело. В какой-то момент она поправила прядь

⁶ *Хиноки* – кипарисовик туполистный, японский эндемик.

⁷ *Сэнтó* – японские общественные бани.

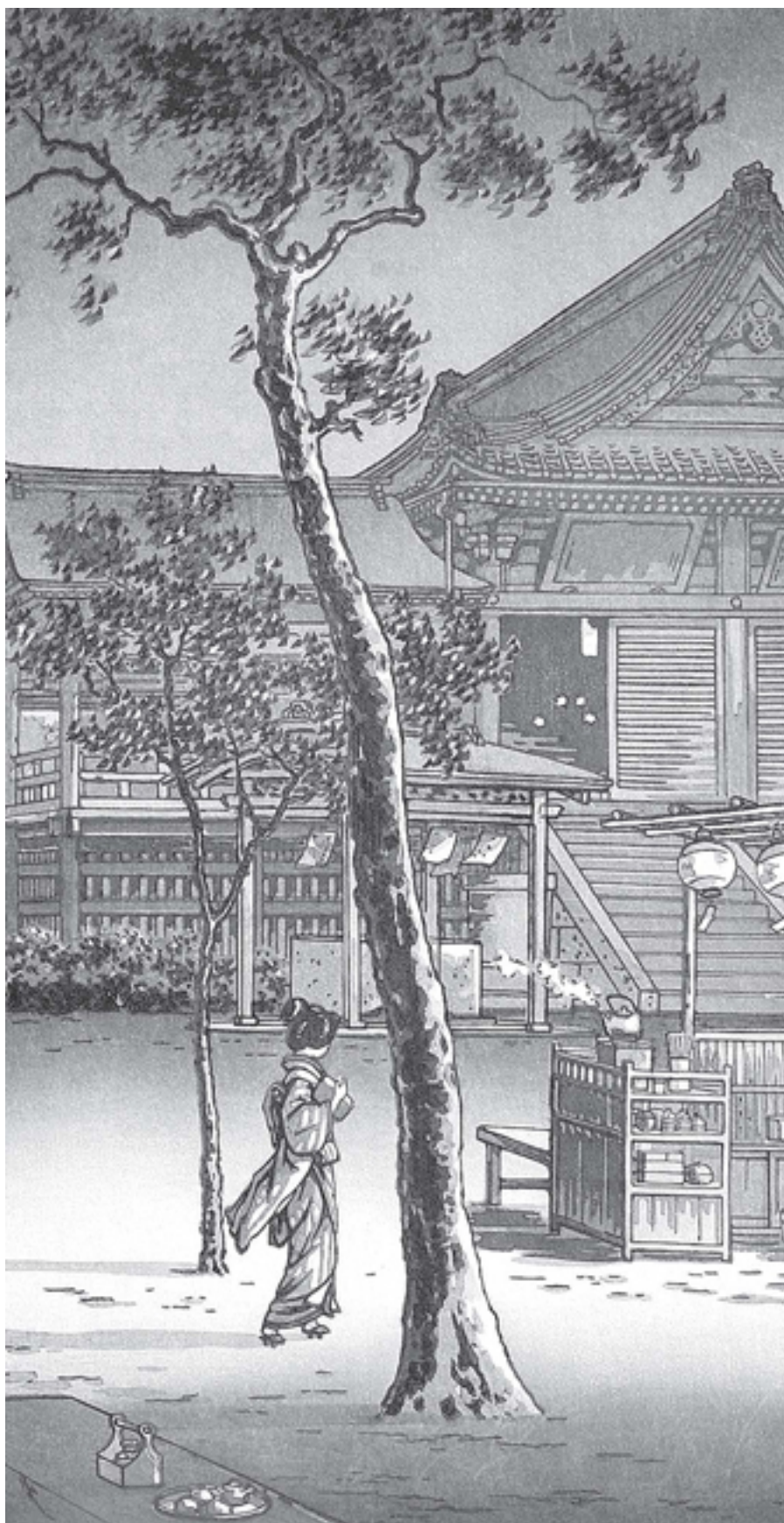
⁸ *Эпоха Хэйан* – период в истории Японии с 794 по 1185 год. Слово «Хэйан» в переводе означает «мир», «спокойствие».

волос тем же жестом, что и в любви, и впервые в своей мужской жизни он захотел женщину – эту женщину – только для себя одного. Он даже не думает о том, что за десять ночей она не сказала ему и десяти слов. В тумане он не видит пожара. Он видит зеленые глаза и жесты танцовщицы. Как всегда, он воспринимает форму.

Он входит в нее, и ее молчаливая пассивность приводит его к неизведанным экстазам. Без сомнения, если бы она ожила, чары бы разрушились, но она не оживает, и он тонет в собственном блаженстве. Он движется туда и обратно в этом светоносном разломе, все, чего бы ни захотела эта женщина, он захочет тоже, но затем что-то внезапно меняется, и она предстает другой. В занимающейся заре ее обнаженное тело кажется прозрачным, и впервые она не смотрит на картину: она наблюдает за ним. У нее расширенные зрачки, темные глаза, и его охватывает ужас, словно он накаливает на булавку живое насекомое. Ее бледность – ловушка, поглощающая свет, и он кончает в молчании, в давящем ощущении катастрофы. Она встает, одевается, говорит, что уезжает в Токио и они увидятся, когда она вернется. Он ничего не понимает, но нимало не сомневается: это конец, и он даже не знает, конец чего.

После





Итак, Хару Уэно родился и умирал, глядя на ирис. Отныне он знал: чтобы чувствовать свое присутствие среди вещей, следует родиться и умереть, и каждый раз это будет происходить в саду.

В дни молодости сад дзен храма Дайтоку-дзи покорила его красотой, равной которой Хару не знал. В его вневременных водах соседствовали бамбук, камелии, клены, фонари, песок и резные, как кружево, деревянные постройки, полные тайных переплетений и чудесных уголков. В Синнэ-до, напротив, храм был темен, массивен и походил на укрытие, где прячутся от бури. В силу того же стремления к минимуму средств частный сад главного священника храма состоял всего из трех камней, сосны, полосы серого песка и фонаря, вросшего в мох, но, согласно древней традиции, весь вид направлял взгляд на более просторный пейзаж восточных гор. «Я так любил все соития замкнутого и распахнутого, – подумал Хару, – однако сейчас мне ничего не нужно, кроме этих трех камней и полосы разлинованного граблями песка». Он снова вспомнил одну из любимых историй Кейсукэ: в древнем Китае император решает отблагодарить дальновидного советника и предлагает ему выбрать себе подарок среди неисчислимых императорских богатств, а мудрец просит всего лишь миску риса и чай, и ему отсекают голову за дерзость. Доходя до этого места, Кейсукэ всякий раз хохотал, и сегодня Хару подумал: «Он рассказывал эту историю для дня моей смерти. Я держу весь мир в своих ладонях и выбираю ирис и розу. В расплату за это сокровище мне сейчас отрубят голову». У него за спиной отодвинулась дверь, и он закрыл глаза.

– Кейсукэ передал тебе это, – донесся голос Поля.

Вновь оставшись один, Хару открыл глаза и увидел стоящую перед ним черную чашу. Он подумал: «Конечно», – и завязка, и развязка произошли у Томоо.

На самом деле с первого же рассвета Хару понял: Синнэ-до был землей паломничества, Томоо – ее стражем, а Кейсукэ – паромщиком. Монахи полагают, что через последнюю реку могут переплыть только мертвые, но Хару был убежден, что гончар не единожды бороздил ее при жизни, а протекает эта река через Синнэ-до. Однажды он тоже пересечет ее на лодке дружбы и, возможно, в свой черед увидит мир глазами гончара. Хотя он не ходил рука об руку со смертью, на холме всегда чувствовал себя дома, потому что верил в чай, в истинность реки и в незримое, ставшее зримым. Сегодня, через пятьдесят лет после встречи с чашей Кейсукэ у Томоо, он впервые видел ее по-настоящему. Чаша размывалась, но не исчезала, она была матовой, простой, обнаженной, Хару не сводил с нее глаз, и вскоре ее форма начала растворяться, от нее остался лишь слепок без материальной субстанции и контуров, от него исходил глубокий покой, и Хару подумал: «Наконец-то я прохожу сквозь туман».

Через неделю француженка вернулась из Токио, он увидел ее у Томоо, заметил враждебность в ее лице и отвернулся. Он больше не хотел ее, считал холодной, как рептилия, и ждал, когда она уедет и жизнь вернется в свое русло. Кейсукэ не показывался, Хару ушел еще до окончания вечеринки, отправился домой, принял ванну, почитал немного и лег спать. Он не боялся, что будет страдать, хотя и знал, что где-то внутри останется – и у него, и у нее – отметина от этих странных десяти ночей. Однако со временем, чудесным временем со многими женщинами и прогулками по снегу, он начал испытывать легкую тревогу. Он чувствовал, что следы Мод угнездились где-то глубоко, в некоем слепом пятне души. Если он думал о тех десяти ночах, проведенных с ней, то был не способен *представить* их, все оставалось в мертвой зоне, и он чувствовал себя и незрячим, и осознающим свою слепоту. Он, всегда уверенный, что знает себя, больше не ощущал себя прежним и, по мере того как продолжал вести ту же жизнь, что и *до* (подспудно сомневаясь, что она когда-нибудь вновь такой станет), чувствовал, как растет его беспокойство. Занимаясь любовью – вновь обретая радость от того, что занимается любовью с женщиной, – он не думал о Мод, но начинал по-новому побаиваться себя, словно вкралось крошечное смещение, на долю миллиметра исказив карту его существа. Больше того, на смену изначальному беспокойству пришло смутное чувство угрозы.

На вечеринке у Томоо, последней перед тем, как француженка должна была покинуть Японию, он познакомился с англичанкой. Он уже встречался с ее мужем, застройщиком из Токио, который перевез жену и сына в Киото. Мужчина ему не нравился – коммерсант, думающий только о деньгах, не вызвал никакого уважения. В «Системе Хару» деньги служили лишь для того, чтобы прокладывать путь искусству, покупать саке и строить стеклянные клетки для кленов. Бет, жена застройщика, была слеплена из того же теста, что и сам Хару. Их представили друг другу, они поболтали немного о всяких безобидных пустяках, и он понял, что будет с ней спать и они станут большими друзьями. Она была женщиной жесткой, но не той жесткостью, которая могла бы его ранить, потому что Бет ждала от людей понимания своего места – и в мире, и в самих себе, а если этого не обнаруживала – просто проходила мимо. Как и Хару, она презирала деньги, как и он, любила командовать и строить, хотя в то время ее еще не подпускали к браздам правления семейным предприятием, которое она после смерти мужа превратила в империю. После любви Хару нравилось смотреть, как она сидит напротив, нагая, светловолосая, угловатая, потягивая чай, пока они обсуждают текущие дела. Он знал, что у нее есть и другие любовники, что мужа это не заботит и что она может позволить себе неслыханную вольность, причем в стране, совершенно непривычной к свободе женщины. И наконец, у нее был сын, Уильям, единственное существо, которое она когда-либо любила и которого ей суждено было потерять по собственной вине. Когда она заговаривала о нем, ее кожа обретала перламутровый блеск, глаза темнели, она становилась до чертиков красива, озаренная упоением любви. Судьба любит лишать нас того, что служит нам опорой, и удесятряет кару тем, кто бестрепетно смотрит ей в лицо. Сегодня, двадцатого мая 2019 года, четыре десятилетия спустя, Хару видел Бет и Мод с новой, необычайной ясностью и думал: «Так собирается пазл; казалось, что мне нравится их жесткость, но я видел их чужеродность – чужеродность, одиночество, их раны и мои собственные».

В тот весенний вечер 1979 года Хару и Бет стали любовниками, и, целуя эти губы западной женщины, утверждаясь в этом теле, он почувствовал, что Мод наконец покидает его. Но поскольку судьба всегда берегает особые кары для тех, кто бестрепетно смотрит ей в лицо, однажды она обратилась вспять и постучала в дверь дома на Камо.

* * *

Ту, кто открывает дверь, зовут Сайоко. Что до посланника судьбы, он выглядит как безупречно одетый мужчина лет сорока, стоящий под прозрачным зонтиком с каким-то обернутым в шелк предметом под мышкой. Его зовут Жак Меллан, антиквар, специализирующийся на искусстве стран Востока, он подвизается в Париже, и у него две страсти: сиамские кошки и Киото. Вдобавок у него есть жена, трое сыновей и сложности с пониманием того, почему жизнь заставляет человеческие существа рождаться не в том теле и не в том месте. Накануне, встретив Хару на вечеринке у Томоо Хасэгавы, Меллан понял: ему хотелось бы быть именно Хару Уэно. Сейчас, когда он стоит перед его жилищем, сожаление превращается в боль.

Сайоко смотрит на него, он откашливается. Японки в кимоно производят на него сильное впечатление, он никогда не уверен, что окажется на высоте их удивительного клана. Кроме того, он не знает, кем она приходится Хару – женой, сестрой, любовницей или домоправительницей. Накануне торговец сказал ему, чтобы он зашел перед ужином, и Жак Меллан вырядился как на свидание, а теперь забыл, зачем он здесь, – он даже забыл, что говорит по-японски, и слышит, как голос с ломкими интонациями спрашивает его:

– Меллан-сан?

Он кивает, и японка добавляет:

– Ueno-san wait for you inside⁹.

В прихожей стоит большая ваза с темными боками, из которой выпархивают ветки магнолии. В комнате, где ждет Хару, висит клен в стеклянной клетке. Жака Меллана охватывает отвращение при мысли о своей квартире в Восьмом округе, длинной анфиладе комнат с наборным паркетом. В Киото он часто испытывает подобное отвращение, но на этот раз ему хочется не только жить здесь, но и быть этим человеком. А потому он теряет нить задуманного рассказа о себе самом – элегантность, обходительность и недомолвки в стиле Великого века¹⁰ – и думает: «Я отдал бы десять лет своей жизни, чтобы оказаться на месте этого типа».

– О, здравствуйте, здравствуйте, – говорит ему торговец по-английски, жестом предлагая присоединиться к нему за низким столиком.

Японка на мгновение задерживается, сложив руки на оранжевом оби¹¹, прежде чем удалиться мелкими неслышными шагами. Она возвращается с подносом, на котором стоит набор для саке с орнаментом из цветов вишни. Жидкость, которую разливает по чашечкам Хару, белесая, слегка игристая, немного мутная.

– Это саке из Такаямы, – говорит японец, – у отца с братом там небольшая лавка.

– Как вы составили свое состояние? – спрашивает Жак.

Японец смеется.

– Я нашел свой дом, – отвечает он.

Жак оглядывается вокруг.

– Нет-нет, – говорит Хару, – не этот, но, если у вас завтра есть время, я вас туда отведу.

Француз отвечает, что время у него есть, вспоминает, зачем пришел, и кладет на стол завернутый в шелк предмет. Он знает, что японец не станет распаковывать его при нем, и поэтому говорит:

– Я всегда ношу одну с собой и дарю тому, кто открывает мне дверь.

– Полагаю, не дверь судьбы, – говорит Хару.

– Нет, – отвечает Жак, – невидимую дверь.

Некоторое время они молча пьют, потом Жак поднимается, и Хару говорит:

– Я заеду за вами завтра в половине четвертого.

Назавтра в половине четвертого Жак Меллан ждет перед входом в свой отель. Он повязал бантом красный в белый горох галстук, предназначенный для особых случаев, сознавая, что стоит на пороге тайного венчания. В такси Хару рассказывает ему историю про лисицу, которую Жак впоследствии вспомнит – в день своей смерти, – но сейчас слушает, не вникая в смысл. Наконец машина останавливается перед аллеей, ведущей к большому алому portalу. Несколько лепестков вишни кружат в теплом майском ветерке, за порталом Меллану видны окаймленные фонарями и кленами каменные лестницы, поднимающиеся к приземистому храму. Справа деревянная пагода, перед храмом просторный двор, вокруг прилегающие постройки. Ни единого человека, и, если у Жака Меллана с его шелковыми галстуками, кашемировыми халатами и ужинами в клубе еще оставалось сомнение, оно мгновенно рассеивается, потому что здесь явный избыток невидимых дверей. Француз следует за японцем ко входу в храм и, поглощенный внутренними катаклизмами, пропускает все мимо ушей. В восторге, смешанном с благоговением, он ступает на незнакомые пороги и чувствует за спиной чье-то присутствие, но, обернувшись, не видит ни единой живой души. Спрашивает себя, как же он умудрился пропустить подобное место, ведь он часто бывал напротив, в Серебряном

⁹ Уэно-сан ждать вас внутри (англ.).

¹⁰ Великий век – традиционно выделяемый во французской историографии период правления трех первых королей династии Бурбонов – Генриха IV Великого (1589–1610), Людовика XIII Справедливого (1610–1643) и Людовика XIV, «короля-солнце» (1643–1715).

¹¹ Оби – традиционный японский широкий пояс, который носят как мужчины, так и женщины.

павильоне¹², и посещал святилище Ёсида, всего в двух шагах отсюда. Увы, ответ известен: он не Хару Уэно, он не японец, он всего лишь бедняга Жак Меллан. Торговец предлагает ему обогнуть храм, и они оказываются под самым прекрасным в галактике сводом кленов, чья листва смыкается в бесконечно изящную арку. У Жака сжимается сердце, и, охваченный сладкой мукой, он не слышит вопроса, с которым обращается к нему другой.

– Простите? – бормочет он, и японец повторяет вопрос:

– Ну, как с невидимой дверью? – и, не ожидая ответа, сворачивает направо, на мощенную камнями и песком тропу между кладбищами.

Где-то вдали раздаются четыре удара гонга. А еще где-то, куда дальше, в личных пространствах Жака Меллана, происходит некое сопряжение, и реальность, та, в которой он шагает между могилами и каменными фонарями, меняет *субстанцию*. Повсюду качаются на ветру тонкие деревянные стержни, изукрашенные надписями, в которых, как ему кажется, он читает текст своего посвящения в сан. Недолгая прогулка, они доходят до конца аллеи и оказываются на вершине длинной лестницы, которая, пересекая кладбище, ведет к другим храмам, стоящим во впадине у холма. За спиной у них деревянная пагода, внизу в своей чаше раскинулся Киото, над ними восточные горы. Время покрывается невесомой взвесью – легкая пыль, летящая на путях мира, преобразует течение его часов, и между рождением и смертью Жак Меллан прогуливается по дороге своей жизни.

На самом верху лестницы они останавливаются и смотрят на город.

– Рильке, – отвечает Меллан на вопрос, который Хару задал ему десять минут назад.

Японец смотрит на него.

– Вчера, у Томоо Хасэгавы, – говорит Меллан, – мы восхищались горами, покрытыми нежной майской зеленью, и я сказал: это красиво, но самый прекрасный сезон – это осень. И вы тогда процитировали Рильке: «Листва летит, как будто там вдали за небесами вянет сад высокий»¹³.

– А, – говорит Хару, – мне эти стихи читал мой друг Кейсукэ, горячий поклонник Рильке.

– Но ведь так оно и есть, – говорит Жак, – это Япония в чистом виде: небеса, за которыми вянут сады.

Хару посылает ему улыбку.

– Сады для богов, – добавляет Жак. – Вы не можете себе представить, как для меня важно открыть эту дверь.

– О, поверьте, вполне могу, – отвечает Хару. – Я знаю, что такое жизнь человека.

Они на мгновение замолкают, потом Жак спрашивает:

– Что это был за гонг?

– Гонг Хонэн-ин, – отвечает Хару, – монахи звонят в него каждый день при закрытии.

– Маленький храм к югу от Серебряного павильона? – спрашивает Жак.

Хару кивает, рукой указывая направление.

– Мы сейчас в Куродани – так обычно называют храм Конкайкомё-дзи, – То-тян живет на восточном склоне Синнё-до, в двух минутах отсюда, а Серебряный павильон чуть дальше, минутах в двадцати хода.

По обе стороны лестницы идут ряды могил вперемежку с нандинами¹⁴. Меллан знает, что здесь нет места случайности и что вся его жизнь отныне держится на мгновениях, сосредоточенных в промежутке, отделяющем дом То-тяна от этой кладбищенской лестницы. Возможно, он умрет в глубокой старости, да и уже немало пожил, но сердцевина его существова-

¹² *Серебряный павильон* – официальное название Дзисё-дзи; построен в 1483 г., изначально предполагалось покрыть его весь серебром, но из-за бедствий войны это не получилось.

¹³ Цитата из стихотворения Райнера Марии Рильке «Осень» (*Herbst*, 1906). – *Здесь и далее перев. В. Куприянова.*

¹⁴ *Нандина*, она же «небесный бамбук», – вечнозеленые кусты семейства барбарисовых.

ния раскрывается здесь и сейчас, одновременно и на веки вечные. Он делает глубокий вдох, возрождаясь и скорбя, в счастии и непроглядном отчаянии. «Вот, – думает он, – жизнь сводится к двум дням и нескольким сотням шагов». Японец не говорит ничего, но Меллан, вне себя от жаркой любви к этому паромщику, только что превратившему его в пилигрима, желает возблагодарить судьбу, которая послала ему эту встречу.

– Это одна моя подруга посоветовала мне пойти к Томоо, и благодаря ей я познакомился с вами; Мод Ардан, знаете такую?

– А, Мод, – говорит Хару небрежным тоном. – Как у нее дела?

– О, – говорит Жак, – не знаю, с нею никогда ничего не поймешь.

Он думает о чем-то другом, потом без всякой причины снова вспоминает Мод.

– Как бы то ни было, – добавляет он, – она беременна.

Повисает пауза, которой Меллан не замечает, но Хару совершенно забывает о присутствии француза. Секунду назад он испытывал теплое чувство к этому негодянцу, ставшему человеком веры, теперь же думает только о том, что о существовании своей дочери он узнал там, где когда-нибудь упокоится в могиле. У него нет никаких сомнений, что ребенок от него, как и в том, что это будет девочка. В одночасье он обнаруживает, что он отец и что желает им быть – бессемейным отцом чужеземного ребенка; он потрясен и в то же время принимает это. Он не знает, то ли больше не принадлежит себе, то ли никогда еще не принадлежал себе в такой мере. Кто-то только что щелкнул выключателем, и осветилась незнакомая комната его собственного дома. Он растерян, выбит из колеи и думает: «Мод была не концом, а началом». Чувство соучастия – но в чем? – настолько сильно, что в нем разворачивается вся его жизнь. Все с той же ужасающей ясностью он видит в глубине небес, как собираются тучи. Отмечает в уме, что надо пожертвовать деньги храму, написать письмо Мод, переваривает головокружительную мысль о передаче своего имущества существу, которому только предстоит появиться на свет, и кристаллизацию своей жизни в три слова, высеченных на камне в Куродани. Он не чувствует ни гнева, ни неуверенности и думает: «Эта нить не может порваться». Рассеянно слушает француза, пока они продолжают двигаться между строениями храмового комплекса, и размышляет о том, что они, двое мужчин, переживших озарение, прокладывают свой путь по тропинкам духа.

– Как зовут вашего любимого сына? – спрашивает он.

– Разумеется, у меня нет любимого сына, – отвечает Жак, – но его зовут Эдуар. Двое остальных просто неотесанные болваны. Думаю, он окажется геем и продолжит мое дело.

Позже они лениво беседуют, сознавая, что момент миновал, что они еще увидятся и им больше нечего будет сказать друг другу. Хару отвозит Жака в отель, возвращается в дом на Камо и звонит Манабу Умэбаяси, японцу, обосновавшемуся в Париже, где он знает всех из мира культуры. Хару просит его найти адрес некой Мод Ардан и на завтра отправляет письмо, где сказано: «Если ребенок от меня, я готов». Несколько недель протекают в тумане, и наконец Хару получает ответ: «Ребенок от тебя. Если ты попытаешься увидеть меня или его, я покончу с собой. Прости».

* * *

После долгого времени прострации и ужаса, поддерживаемый той же невидимой нитью, которая побудила его написать Мод, Хару сделал то, что умел лучше всего: приступил к организации. С этой целью после недолгих колебаний он доверился другому мастеру все организовывать из собственного дома. Сайоко открыла дверь вестнику судьбы, она была тому единственным свидетелем, и он рассказал ей, что скоро станет отцом французского ребенка, которого ему не позволят увидеть.

– По крайней мере, сейчас, – уточнил он и добавил: – Я говорю вам это, потому что понадобятся фотографии.

Она согласно опустила голову, уселась за низкий столик у клена и посвятила следующий час подведению бухгалтерского баланса. Наконец она поднялась и принесла Хару чашку чая.

– Это будет девочка? – спросила она.

Он кивнул, она ушла.

Шестью месяцами раньше в комнате с кленом проходил смотр кандидаток на должность домоправительницы, но среди них лишь Сайоко выделялась на фоне дерева с непреложностью особенной ветви. Хару увидел, как она смотрит на стеклянную клетку, и паломник распознал в ней все знаки. Ее домашний очаг остался там, где были муж и сын, но местом, где она жила и будет жить настоящей жизнью, стал дом на Камо. К тому же она обладала всеми качествами, необходимыми для ее миссии, то есть теми, которые позволяют приводить в порядок видимое, и теми, что приручают невидимое. Больше того, она обожала Кейсукэ, тот превращался в часть обстановки, когда тянул свое саке, лежа на диване в большой гостиной. Следуя своей неортодоксальной классификации божеств в синтоизме и в буддизме, она твердо верила, что Кейсукэ – один из тех героев, которых горячо приветствуют обе религии, и в этом ее не могли разуверить ни вонючий перегар, ни невыносимый храп горшечника: поскольку Кейсукэ видел то, чего не видят остальные, он имел полное право пить, чтобы найти свой путь в обыденной жизни. К тому же ему было необходимо святилище, куда он мог бы принести свое искусство и свой траур, и этим святилищем стал дом у реки, смотревший на горы. Сайоко, с ее кимоно, невозмутимостью и интендантским талантом, понимала это инстинктивно, вот почему она любила Хару, но почитала Кейсукэ.

В следующие недели Хару заново обустроил свою жизнь. Он написал ответ Мод: «Я подчинюсь твоему желанию и не буду искать встреч со своей дочерью, я не причиню тебе боли». Через Манабу Умэбаяси он нанял, щедро заплатив, частного детектива и фотографа, знающих английский. В своем кабинете он велел разместить на стенах кипарисовые панно и стал ждать, когда третья нить его жизни проявится на сцене мира. На рабочем столе он поставил подарок Меллана, копию маленькой первобытной статуэтки цвета слоновой кости, которая, как он выяснил, изображает богиню плодородия – и, таким образом, судьбы, решил он. Лето выдалось жарче обычного, и ему нравились эти влажные ожоги, в то время как срабатывал непостижимый механизм, благодаря которому его пренебрежительное отношение к отцовству переродилось в надежду. Нечто внутри него желало этого ребенка, рожденного из катастрофы, и в нем даже зрела чарующая уверенность: однажды дочь придет на этот холм и в свой черед поймет, что стала паломницей.

На смену летним дням, отданным на откуп ожиданию, женщинам, саке и искусству, явилась щедрая осень. Деревья на горах жарко пламенели. В глубине небес увядали охапки алых цветов. В зареве кленов билось сердце древней Японии. По мере того как близилось рождение чужестранного ребенка, Хару уверился, что в нем расцветает обновленная любовь к родной земле. Двадцатого октября он в компании Кейсукэ потягивал у себя дома саке.

– Я все больше и больше люблю Японию, – заявил он, и Кейсукэ расхохотался.

– Ты здесь чужеземец, вот почему ты спишь с европейками.

– Я такой же японец, как ты, – возразил удивленный Хару.

Кейсукэ промолчал.

– Я принадлежу Синнё-до, – снова запротестовал Хару.

– Ты паломник, – сказал гончар, – и скитаешься по собственной жизни. Может, ты и нашел свой дом, но изначально ты сын гор, который вырвал свое сердце и отправился в изгнание. А потому, желая бежать от правил, ты бежишь от истины.

– От какой истины?

Кейсукэ засмеялся:

– Истина – это любовь.

Хару хотел ответить, но зазвонил телефон, и он подошел ответить новому вестнику судьбы. Когда он вернулся, Кейсукэ прочел ему две строфы из стихотворения Рильке, того самого, которое он сам цитировал Меллану:

– «И прочь летит от звездного мерцанья в пустую ночь тяжелый шар земли». Даже Рильке понимает твою страну лучше, чем ты.

Но Хару было плевать. Ему было плевать на землю Японии, на изгнание, на звезды и на одиночество. Ему было плевать на все, что до сих пор было для него исполнено смысла. Он подождал, пока Кейсукэ уйдет, а когда Сайоко зашла, чтобы убрать набор для саке, сказал ей:

– Ее зовут Роза.

Он произнес имя по-английски, на языке, который выучил, чтобы общаться с европейцами.

– Роза? – повторила Сайоко, произнеся это на японский манер.

Он кивнул, она ничего не добавила и вернулась к себе. Позже он принял ванну, немного почитал, погасил свет и заснул в ощущении благодати.

Он проснулся в середине ночи и с той же определенностью, которая показала ему тучи, сгустившиеся над его долиной, ужаснулся будущему – одиночеству и тяжести земли, – снова без всякой причины подумал о лисице и ее даме-затворнице, встал и пошел к клетке с кленом. Дерево чуть слышно шелестело, и после легкого замешательства он понял его послание. Как всегда, он не слышал звезд. В который раз эта женщина его ослепила. Исходящий от нее резкий свет парадоксальным образом мешал ему видеть, и он предавался самообольщению, придумав себе абсурдную историю, где он все контролирует, и воображая будущее, у которого не было ни единого шанса осуществиться. Однако в конце концов все обрело ясность. Его дочь родилась, и он не будет ее знать. Она пришла из межзвездного пространства и обрекла его на одиночество.

* * *

А потому, раз уж он не мог изменить судьбу, Хару Уэно изменился сам, и эта ночь породила череду метаморфоз.

Для начала он все разузнал. И выяснил, где и с кем жила Мод, восстановил ее историю, социальные связи, круг общения. За несколько недель он собрал солидную информацию. Однако он хотел знать не просто «чтобы знать», а чтобы в его желании когда-нибудь встретиться с дочерью забрезжил свет. Это желание не могло оставаться только у него внутри. Днем и ночью оно тяжело давило ему на грудь. Оно нарушало его связь с собственным существованием. Оно невидимым экраном отделяло его от мира. Хару смотрел на свои горы и чувствовал лишь тень воспоминания об ускользнувшем восторге. Он лавировал между слепым пятном внутри себя и дальним горизонтом, где таился ключ к его существу. Это мало-помалу разъедало былую уверенность в том, что он себя знает. Хуже того, единственный момент, когда он воскресал, во время своей закольцованной прогулки по Синнэ-до, сменялся удвоенным чувством одиночества, едва он возвращался в дом на Камо.

Вскоре информации накопилось столько, что он уже не знал, что с ней делать, и оказался в положении змеи, которая должна переваривать, поститься, а затем линять, меняя кожу. Он пережевывал трапезы, которые ему поставляли, читал и перечитывал отчеты, разглядывал снимки, мучимый ощущением, что он смотрит, не видя. О чем-то говорилось в отчетах, что-то оставалось за кадром. Отчеты сообщали: Мод Ардан, двадцати восьми лет, не замужем, проводит время между Парижем, где работает, и долиной Вьенны в Турени, где живет ее мать, Паула Ардан, вдова. На одном из снимков, сделанных с помощью телеобъектива, видны были очертания ее усадьбы. Вытянутая на возвышенности, она стояла над рекой, обращенная к волнистым холмам на другом берегу. В центре сада возвышался большой дом гармоничных про-

порций с верандой из кованого железа и высокими окнами. Хару нашел красивыми четкие линии светлого камня и вид на долину, где вилось неуловимое, а еще величественные деревья усадьбы. В один из дней, когда в доме никого не было, фотограф проник на участок и сделал множество снимков. В этом парке, где не было воды, все дышало мелодией ручья, поэтому Хару увидел в Пауле союзницу. Он представлял, как она ходит размашистым шагом, останавливается, задумчиво поднимает нос к облакам, – в застывших движениях на фотографиях сохранялась текучесть, в которой он угадывал переменчивость живого ума. Высокая, темноволосая, с прямой осанкой, она казалась явной противоположностью своим владениям, представлявшим переплетение ползучих растений и старых роз, куда погружаешься, как в тайный пруд. Ее мир был для Хару непостижим, и он воображал, что в своем саду она сама становится текучей, что она любит дождь, что ей бы понравились мхи Киото, и догадывался – или хотел верить, – что именно ей Роза обязана своим именем цветка. Конечно, поначалу это насильственное проникновение в жизнь незнакомки казалось ему преступным, как и собственное нетерпение, с каким он ожидал отчетов, и те долгие часы, которые он проводил, роясь в них. Вокруг него в кабинете воцарился странный покой, изменилась субстанция воздуха: его взгляд пронзал пространство и обнаруживал на расстоянии в десять тысяч километров иную жизнь – принципиально иную. И однако, мало-помалу, влюбляясь в эту элегантную женщину, он чувствовал себя менее виноватым и каждый день обращался к ней с немой молитвой, куда вкладывал все свое почтение, но еще и всю благодарность.

Ибо рядом с ней росла его дочь. Он видел Розу в саду, в колыбели, в коляске, а когда пришла весна – в маленьком манеже на траве, где впервые рассмотрел ее по-настоящему, рыжую, бледную, худенькую, пока над нею с улыбкой склонялась высокая темноволосая женщина. Паула Ардан совсем молодой потеряла мужа, но, будучи богатой от рождения, не видела необходимости ни работать, ни снова выходить замуж. У нее было несколько друзей в соседнем местечке, она ухаживала за своими розами в дружеской близости с ветрами, дождями и воспоминаниями, проводила большую часть времени на природе. Хару не видел для своей дочери лучшей опекунши, чем эта мечтательная звезда, привыкшая к грусти и к цветам. Он смотрел, как они вместе смеются, и говорил себе: «Эта связь не может порваться». А вот об отце Мод он мало что сумел разузнать: кажется, тот преждевременно скончался, не успев оставить в мире следов, доступных глазам живущих, а если внутри дома и хранились реликвии и портреты, то у Хару доступа к ним не было. По загадочной причине он предчувствовал, что судьба его дочери принадлежит женщинам, не раздумывая над тем, что это интуитивное знание исключает и его тоже, что она будет расти без отца, как прежде ее мать, а он сам для нее такой же призрак, портрета которого нигде нет. Впрочем, с какой стати он решил, что бессилен, раз уж чувствует, что вполне жив и дееспособен?

В первое время он переваривал очередную порцию информации, глядя на фотографии Розы, рыжей, смеющейся, восхитительной, она лежала в траве, подставив лобик небесам. Он без устали разглядывал ее и, почувствовав, что накопил достаточно запасов в преддверии поста, дал себе год терпения. Он больше не сомневался, что добьется своего, и продолжал вести прежнюю жизнь на манер любовников, томящихся в ожидании тайных встреч после разлуки. Сайоко заходила в кабинет, ставила чай или sake, проходила мимо снимков, приколотых к кипарисовым панно, и исчезала, не сказав ни слова. Когда появлялся Кейсукэ, Хару принимал его в комнате с кленом, подальше от своего кабинета, ставшего святилищем, связывающим Киото с горсткой дальних холмов. Он прочел массу книг о Франции, тщательно просеял материалы, но не пожелал учить французский: со своей дочерью он, разумеется, будет говорить по-японски. Наконец, он долго размышлял о способах подобраться к Мод и решил, что напишет Пауле, когда Роза отпразднует свой первый день рождения.

Он этого не сделал. Отчеты о чем-то сообщали, о чем-то умалчивали. Но то, о чем они умалчивали, Хару видел. Каждые выходные Мод на поезде отправлялась к матери, на несколь-

ких снимках она стояла в саду, курила сигарету, спиной к стоящему в траве манежу. Утром первого дня рождения Розы, когда Хару читал в кабинете, Сайоко принесла ему очередной конверт из Франции, поступавший каждый триместр. Там лежали фотографии грузовика у входа в парижский дом Мод, потом его же перед домом Паулы с единственной подписью из двух слов: «Она переехала».

Хару поднял глаза к горам. На снимках небеса Турени выглядели огромной, просто гигантской чашей, изогнутой над зеленой землей. Он подумал, что в Киото никогда не было ни свода, ни бесконечности, только туманы, поднимавшиеся вечерами вдоль горных склонов. Листья вишен и кленов на берегах Камо начали алеть, в тишине мелькали утренние бегуны, время и пространство распадались, жизнь Хару раскалывалась. Снимок показывал Мод, стоящую, скрестив руки, у веранды, но на самом деле не показывал никого. Всплыло воспоминание детства, пьеса театра но¹⁵ в соседнем святилище, полная призраков и испуганных женщин на фоне ширм и горных сосен. Он помнил об этом как о сновидении, но позднее его не смогло вытеснить ни одно театральное представление, оно так и осталось в нем сумрачной страшной грезой, омывая его годы. Мод переехала к матери, как постригаются в монахини, отгородившись от мира и взирая на него глазами призрака, и Хару не сомневался, что она убьет себя, если он снова появится в ее жизни. По иронии судьбы дела у него еще никогда не шли так хорошо, и его угнетала мысль, что он преуспевает пропорционально тому, как усиливается смятение в сердце, и крупным торговцем он стал лишь потому, что потерпел поражение в намерении стать отцом. Жизнь, которая до сих пор таила лишь обещания побед, предстала под новым углом: его порвали, как папиросную бумагу, и кто-то – эта женщина – держал ее клочки. Трагедия более не принадлежала всему миру, она просочилась внутрь его самого, и он был обречен поститься. И тогда, раз уж он не желал принимать уравнение судьбы, но не мог решить его извне, он, подобно змее, сбросил старую кожу.

* * *

Он вступил в период перемен с той решимостью, которую вкладывал во все, что делал, и потому, вспомнив о своем сердце, вырванном у гор, он обратил взгляд не в будущее, а в прошлое. И отправился в Такаюму.

В городе он навестил отца и брата, нашел первого усталым, а второго озабоченным. Они выпили sake и кратко обменялись новостями. Когда Хару собрался уходить, Наоя вышел следом за ним на улицу и, повернувшись спиной к лавке, сказал брату:

– Знаешь, он выживает из ума.

Хару сел в машину и двинулся вдоль цепи лавочек, торгующих sake, дыре во времени и пространстве, ведущей к духам древней Японии. Он думал: «Киото – легкие Японии, Такаюма – сердце, сердце простое и пылкое, укорененное в этих домах вне возраста, плывущих по волне времени». Он направился к родительскому дому, в четверти часа езды на машине от центра. В молодости отец каждый день спускался пешком с гор. Иногда он оставался ночевать в городе, над лавкой. Или же шагал под луной в ледяной ночи вдоль потока до самого дома на берегу. Посреди брода лежал большой камень; зимой из-под холодной воды виднелась только его покрытая инеем верхушка. Хару вырос, наблюдая, как снег падает и тает на этом скалистом выступе, что и зародило в нем любовь к материи и понимание формы. Он часто думал, что меньше получил от отца, чем от реки, или, скорее, что близкие, сами того не ведая, послужили примером того, чего он для себя не хотел. В этом доме вкалывали изо всех сил, ели, спали, а с утра все начиналось по новой. Тяжкий труд уступал место не созерцанию, а лишь перерыву в

¹⁵ *Театр но* – одна из форм классического японского драматического театра, существующая с XIV века.

тяжком труде. Времени хватало только на сырой материал, тайной структуры которого никто не чувствовал. А вот водный поток перед домом гласил: «Мир только и ждет, чтобы выявились его формы. Упорно работай, чтобы открыть невидимые двери».

По мере того как отдалялся его чужестранный ребенок, Хару стремился обрести новые корни в собственной культуре. Величайшая из невидимых дверей, та, что давала доступ к другим, носила имя «чай». Хару готов был шагать без усталости при условии, что камни, мостящие его путь, будут омыты чистой водой. Жизнь виделась дорогой, орошенной ливнями, с подвижной прозрачностью над ней. В прохладе и вспышках света колыхалось пространство, где поклонялись красоте и верили в духов. И в Такаме он знал, где и с кем войти в эту дверь. Он проехал вдоль реки, свернул на тропу под деревьями, припарковался на берегу и дальше пошел пешком. Слышался шум потока и шелест ветра в соснах, пробивающиеся сквозь ветви лучи солнца подрагивали, как неровные линии витража. Возникла хижина с соломенной крышей, деревянной балюстрадой, огородом вдоль берега и разлитой атмосферой одиночества и силы. Стоял ноябрь, и на другом берегу листья молодого клена готовились к взлету, алые и легкие, новые и уже умирающие. Никого не было, и Хару пошел к реке, уселся на длинном балконе, нависавшем над грядками с тыквой и листьями сисо¹⁶, и погрузился в созерцание стремнин. Какой-то шум вырвал его из грез, и вышедший из леса Дзиро присоединился к нему под навесом и жестом пригласил в дом. В городе старик держал антикварную лавку, где соседствовали барахло и сокровища. На своей горе он правил королевством скудости и благодати. В главной комнате он усадил гостя и приготовил ему чай. В Киото Хару принимал участие во множестве церемоний и пережил множество экстазов и множество разочарований. Иногда магия срабатывала, в иных случаях в холодной и формальной атмосфере приходилось вежливо скучать. Но любая такая церемония проводилась во славу цивилизации чая, присутствующие окунались в реку, которая знавала древних мастеров, воспринимали урок изящной строгости и утонченного смирения. Дзиро же, напротив, священнодействовал в хаосе лачуги, заваленной книгами, разнородными предметами и инструментами. Не было ни свитков на стенах, ни цветов в алькове. У входа громоздились коробки с пивом. Татами были старыми, слегка побитыми молью. Рядом, за раздвижной дверью, виднелся кухонный кавардак. Хотя здесь было чисто, все казалось устроенным как попало.

Однако дух здесь говорил с духом. Чугунный чайник на эмалированной подставке пришептывал над кучкой горящих углей. Вокруг Дзиро без всякого видимого порядка были расставлены принадлежности для чайной церемонии и сосуд с холодной водой, а он, сидя по-турецки, со смехом взбивал зеленую пудру.

– Что тебе еще нужно, кроме горной воды и фантазии? – сказал он однажды Хару. – Не понимаю я этих дорогостоящих, расписанных по нотам обрядов, совершаемых с похоронной физиономией.

Но если самой церемонией, ее правилами и ритуалами он практически пренебрегал, то во всем, что он делал, мерцал путь чая. Он мерцал в безукоризненной опрятности утвари, в чистоте воды, в переливающихся тенях деревьев. Мерцал в замысле и скромности обстановки, в точных движениях человека с пылким сердцем. Это было ровное матовое мерцание, без вспышек, некое товарищество – воплощения чая жили и притягивали вас дружескими связями. Мир снаружи трепетал, комната не давала забывать о своем присутствии, «здесь и сейчас» переливалось, сверкая, и два друга жили в этот час вне времени.

Хару выпил первый густой чай, горькую пасту с привкусом овощей и леса.

– Что ты делаешь в городе? – спросил старик.

– Приехал повидать отца.

– О, – сказал Дзиро, – уж точно не для этого.

¹⁶ *Сисо* – перилла, травянистое масличное растение.

Он взял чашу Хару, добавил воды, взбил остатки пасты, прилипшие к стенкам.

– Как идут дела? – спросил он еще.

– Очень хорошо, – ответил Хару.

Дзиро поставил чашу рядом с ним на татами.

– Даже постыдно хорошо, – добавил Хару.

Старик засмеялся.

– Мы торговцы, – сказал он, – стыд – наша повседневность.

– Мне не стыдно зарабатывать деньги, – заметил удивленный Хару.

– Я говорю о необходимости нравиться, – уточнил Дзиро.

Хару отпил глоток второго легкого чая.

– Я не стремлюсь нравиться, – сказал он.

– Ты делаешь это инстинктивно, но делаешь, а в этом все равно пошлость.

Вдали каркнул ворон, и Хару на мгновение показалось, что поток разделит существование на две части. Солнце пробивалось сквозь листву и показывало ему два противоположных берега его жизни. На одном были женщины, саке, деловые ужины и вечеринки. На другом – произведения искусства, Кейсукэ и Томоо. В центре, в мистической зоне, где текла загадочная и воздушная родниковая вода, плыла Роза.

– Можешь рассказывать себе любые истории, какие заблагорассудится, – снова заговорил Дзиро. – В конце концов ты останешься наедине с ними и увидишь, утешают они тебя или заставляют страдать.

– Я думаю, что знаю, кто я, – сказал Хару.

– Тогда что ты здесь делаешь?

Хару собрался ответить «Навещаю старого учителя», но легкий ветерок тронул колокольчик-фурин¹⁷ у входа. Снаружи текла река, в соснах напевал ветер, путем чая он блуждал среди прекрасного безумства вещей. Странное чувство растеклось у него в груди. «Возможно ли, что старик прав? – спросил он себя. И, впервые в жизни: – Неужто я себя обманываю?» Дзиро прислонился к стене, смежив веки. «Что еще ищут в чае, если не невидимое?» – снова задался вопросом Хару. И опять у него мелькнула мысль, что эта женщина забрала что-то у него или, быть может, внедрила в него некое пространство, где он передвигается вслепую. Оба друга сидели в молчании, и Хару почувствовал свежесть, омывающую теперь его дух. Хотя в ней звучали отголоски и дальние зовы, именно свежесть пустоты даровала путь чая своим паломникам. Жизнь избавляется от всего наносного и, как в Синнё-до, предстает перед ним без прикрас. Он бродил по долине звезд и надеялся, что на этот раз сумеет их услышать. «Несут ли они слова моих предков? Или моих братьев? Или моих судей?» – сказал себе он. И, взволнованный этой необычной триадой, почувствовал, как рождается прозрение.

¹⁷ Фурин – традиционный японский колокольчик из металла или стекла, с листом бумаги на язычке; на листе иногда пишут стихотворный текст.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.